

Священник Николай Блохин



НАША ЖИЗНЬ В РУКАХ БОЖИИХ...

Удивительные повести и рассказы

Священник Блохин

Наша жизнь в руках Божиих...

«Издательские решения»

Блохин С. Н.

Наша жизнь в руках Божиих... / С. Н. Блохин — «Издательские решения»,

В книгу вошли повести и рассказы батюшки Николая Блохина об удивительных перипетиях человеческих и исторических судеб. Яркие образы, интересные темы, уникальный литературный слог — все это неизменно сопровождает каждое произведение автора.

Содержание

Царское дело	6
Травка	15
Тихвинская	19
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Наша жизнь в руках Божиих...

Удивительные повести и рассказы

Священник Николай Блохин

© Священник Николай Блохин, 2015

© Гриша Стаценко, иллюстрации, 2015

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero



Иерей Николай Блохин с епископом Амурским и Чегдомыньским Николаем (Ашимовым), г. Комсомольск-на-Амуре, 2015 год

Царское дело

Тяжко умирал Грозный Царь Иван Васильевич. Страшный грех сыноубийства так и не отпустил. Бог, Который все прощает, когда каешься, простил, но разве возможно забыть то, как твой посох (Царский посох!) в порыве очередной вспышки безудержного бешенства летит острием в висок сыну твоему, кровиночки твоей, наследнику не только семьи твоей, но наследнику Престола государства Российского... Метался, рыдал, каялся, опять метался почти до умопомешательства – не вернешь сына. Сына Феодора, теперь наследника, Грозный Царь Иван считал неспособным царствовать. Вздыхал, глядя на него и говорил:

– Тебе бы, Федя, пономарем быть, а не царем.

Кроткий и набожный царевич любил сам звонить в колокола, созывая москвичей на церковную службу. И улыбался при этом всегдашней своей блаженной улыбкой. Больше всего на свете любил молиться и стоять в храме на службе. В Великий пост в Чудовом монастыре выстаивал до конца самые тяжелые для стояния длинные богослужения, когда и опытные монахи изнемогали. Никогда не садился даже во время тех чтений, когда разрешено было, когда все монахи садились. И та же кроткая улыбка пребывала на его губах. Иногда только всплакивал и произносил тихо:

– Боже, милостив буди мне, грешному...

«Смиренно-блаженный», – так его называли бояре. И еще по-всячески искали в нем что-нибудь унижающее. И находили: «нетвердая походка», «опухлое лицо», – и прочее всякое такое же внешнее, числом во множестве, и, наконец, все сходилось во мнении: не склонен заниматься государственными делами. Правда, все отмечали, что: естеством кроток, мног в милостях ко всем и непорочен.

Это всех все-таки радовало, повторения свирепости Ивана Грозного не хотел никто. Правда, все думали, что с таким Царем не оправиться от тех ударов, которые нанесли нам в последние годы жизни Ивана Грозного король Речи Посполиты Стефан Баторий, шведы и крымцы.

И вот, 31 мая 1584 года в Успенский Собор из Царских палат вошел Царь и Великий Князь, двадцатисемилетний Феодор Иоаннович для венчания на прародительский престол, на царство на Московской Святой Руси. Входил Феодор Иоаннович в светло-голубой одежде, окруженный боярами, князьями и воеводами в золотых одеждах. Впереди митрополит Дионисий нес наследие Мономаха: Животворящий Крест, венец и бармы – нанизанные на золотую цепь круглые медали с изображениями святых, одеваемые на плечи, а брат Царицы Ирины, Борис Годунов, нес скипетр – короткий витой жезл с крестом – символ власти. Высшее духовенство в праздничных облачениях с песнопениями шествовало позади. Несметная толпа москвичей, запрудивших Соборную площадь, пение подхватила и могучие и светлые звуки его устремились молитвенными волнами к небесам, прося тишины и благоденствия уставшей Русской державе. Еле пробралось шествие сквозь народ, все хотели быть поближе к идущему на помазание, а самые ретивые жаждали дотронуться до его одежд.

В Соборе Феодора Иоанновича облачили в царские парадные одежды, митрополит Дионисий возложил на него шапку Мономаха и бармы, а затем, после того, как Феодор Иоаннович приобщился Святых Таин, митрополит помазал его святым мирром. К народу из южных ворот Успенского Собора выходил уже помазанник Божий, Царь Феодор I.

Среди тишины, из заранее приготовленной корзины, наполненной монетами, посыпался на шапку Мономахову, на плечи Государевы золотой дождь, символ человеческий Божьего благословения Его благодатью. И грянуло над площадью многоголосное «...мно-о-гая ле-е-ета!...» И, перекрывая пение, ударили колокола всей Москвы ликующим трезвоном. Красный звон – Царская встреча – носился по московским площадям и улицам и, отражаясь от домов

и храмов, сталкивался сам с собой, образуя переливчатые звуковые вихри, которые кружились в воздухе, уходили в землю, уносились в небо, или столбом гудящим замирал вихрь, сгущался надолго на месте, отслаивая от себя умиротворяющие радостные волны. И радость в Красном звоне чувствовалась особая, будто сами колокола радуются, что воцарился их любимчик и сами они его любимчики – сел Царь на престол московский, любимое дело которого – в колокола звонить. А в гудении большого тысячепудовика будто слышалось: «Эх, Государь, вбежал бы что ль ко мне, как каждое утро прибегал! Да разве ж это звонари, по сравнению с тобой...»

А Государь Феодор I Иоаннович, восседая на роскошно убранном коне, направлялся к своим палатам и смотрел в ответ на колокол и улыбался своей всегдашней улыбкой.

Услышав колокольный звон, рука каждого русского человека сама собой поднимается для крестного знамения. А если в колокол звонит сам Царь? Нужны ли вообще тогда царские указы, коли сердцем слушаешь колокол, в который от сердца звонит твой Государь?

В палатах Царь сел на трон и сказал:

– Бремя, возложенное на меня Благим Господом по устройению дома Пречистыя Его Матери, вместе понесем, каждый свою часть – кто в храме на молитве, кто с мечом в поле ратном, кто с плугом в поле пахотном, кто в «приказах» думу думать...

Князь Иван Михайлович Катывев-Ростовский стоял в тесноте в царских палатах и слушая тронное царское слово, безотчетно чувствовал, что действительно для Руси наступает время тишины. Ну, хоть временный передых. И не мог себе объяснить, почему он так чувствовал, будто слова царские только на звучании своем несли в душу успокоение, уверенность и радость, как только что завершившийся Красный звон. И тут рядом с собой князь услышал ироничный вздох. Вздыхал боярин Григорий Годунов, родственник Бориса Годунова. И вздох его говорил: «Да уж ясно – не в „приказах“ ты будешь думу думать, а из храма не вылезать...» Боярин понял укоризненный взгляд князя и в ответ на укоризну опять вздохнул: «Да прав же я, князь...»

Первым делом царствования Феодора Иоанновича было освобождение без выкупа всех литовских пленных. И не от того он поступил так, что не хотел новой войны с Баторием, но... если ты христианин, то как же еще поступить?

Так говорил он противникам этого решения, жаждавших обязательно получить за пленных деньги. В разговоре с Катывевым-Ростовским князь Михаил Головин возмущался до брызганья слюной:

– Всегда за пленных деньги брали! Не слишком ли он следует внушению своего жалостливого сердца?! К противнику! Это не по-государственному!

– Это по-царски, – отрезал Иван Михайлович. И добавил затем: – Это внушение православного сердца.

Вскоре Головин благополучно перебежал к Баторию, уговаривая того спешно двигать свои войска на Москву, дескать, при таком бесхребетном Государе победа обеспечена.

«Вот с тобой бы я точно разделался без жалости и не по-православному,» – думал про перебежчика князь Катывев-Ростовский.

А глядя на то, какое время потекло на Руси, радовался в душе: «И умилосердился Господь на людей Своих и возвеличил Царя, который, державствуя тихо и живя в благонравии, явился, наконец, тем утешением, которого так ждали подданные...»

Внутри – тихо, на границах – спокойно. Вдруг почему-то валом повалили «удачные перемены» для нас во всех внешних силах, что ошетинились против нас со всех сторон. Вроде бы само собой, хотя Царь, как вздыхал про него Григорий Годунов, «не вылезал» из храма. Борис Годунов, ближайший царев помощник, чтоб получить нужную подпись, часами ждал, пока Царь закончит молитву и прервать ее не смел. Никто не смел. Его можно было оторвать от чего угодно, грубости даже он терпел запросто, но чтоб молитву его прервать... И все были уверены,

что при этом могла вполне всколыхнуться и вскипеть в его жилах батюшкина кровь. От одной мысли об этом все в трепет приходили.

Города, один за другим, возникали и росли на границах, важнейшие города. На севере – Архангельск, на Волге – Саратов, Царицын. Астрахань и Смоленск обведены, наконец, каменными стенами. Курск, 300 лет стоявший разоренный, не подступиться к нему из-за набегов – в один год отстроился. И на Волге, на удивление строителей, те, кто раньше житья не давал, вдруг перестали тревожить.

А Государь вместо думы думанья в «приказах» – на молитве в храме стоял.

– Государь, – дождавшись, наконец, когда Феодор Иоаннович вышел из храма, тревожно говорил Борис Годунов, – подпиши указ, чтобы войско из Новгорода перебросить. Баторий окончательно решился нападать.

– Ну, «окончательно» – это вообще не людская мерка. Что «окончательно», а что нет, один Бог знает. Завтра заговенье на Филиппов пост, а в пост, Борисушко, молиться надо, а не бегать войско собирать.

– Государь! – уже даже раздраженно воскликнул Борис. – Баторию все равно когда нападать, ему что пост, что не пост.

– Ему-то все равно, а нам-то нет. Господь – он все управит, как надо. Пойду вот сейчас Пречистой помолюсь, Донскому образу Ее. Что-то я к нему нынче особую приязнь чувствую. А ты иди пока, а то у меня от твоих бумаг голове неспокойно...

13 ноября 1586 года, в заговенье на Филиппов пост, в самый разгар приготовления к войне, внезапной смертью умер злейший и могущественный враг державы Российской, король Речи Посполитой Стефан Баторий. И в одночасье рухнули все его окончательные планы.

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский во всю прыть мчался к Москве, сокрушаясь, что все-таки уткнулось спокойное течение времени в беду. Страшную беду. Слава Богу, хоть успели много за тихое время.

150 тысяч крымских головорезов под предводительством хана своего, Козы-Гирея, прут прямо на Москву, имея в виду оду цель: стереть ее с лица земли. Кто сопротивляется – под нож, остальных в плен, туркам в рабство.

Скрытность крымцы обеспечили блестяще, вот только что их обнаружили, когда до Москвы уже рукой подать. Правда сигналы на вышках уже дошли до Москвы и первого июля около Данилова монастыря наши, числом вшестеро меньше крымцев, расположились военным лагерем, оградив себя сцепленными телегами. Внутри лагеря соорудили по личному царскому распоряжению в один день деревянную церковь во имя преподобного Сергия и, говорили, что Государь сам привезет в нее из Кремля икону Царицы Небесной, которая была с Дмитрием Донским на Куликовом поле...

...Он глядел на Лик, который сегодня будет среди его войск вдохновлять ратников на смертный бой.

– ...И что они все лезут?.. Сам Сергей преподобный держал в руках эту икону и Димитрию Донскому в руки отдал. Теперь мне вот, многогрешному, на своих недостойных руках нести ее воинам своим...»

Он зажег свечу, поставил ее на подсвешник перед Ликом, встал на колени. Показалось: светлое пятнышко возникло на правой ручке Младенца, которой Он держался за Мать. Прощептал тихо:

– Царица Небесная, спаси землю Русскую...

Но тихий шепот его воплем взывающим полетел безмолвно из души сквозь свечное пламя к светлому пятнышку. И будто этот его душевный порыв за собой увлек пламя, умножил его. И вот уже он видит икону, сияющую почти нестерпимым светом, будто окно перед ним светоносное из Царства Небесного! Каждой клеткой тела своего, каждым нервом мозга, каждой незримой стрункой души осознал царь Феодор, что вот сейчас только, впервые в жизни и возможно в последний раз, пробуждается в нем то, что и называется молитвой. И это – дар, дар на малое время, ибо не может обычный человек вынести этот дар долговременно, взорвется, распадется душа от такого напряжения. Сергей преподобный, в хам которого понесет он сегодня Донской образ, молился такой молитвой каждый день. Но то – Сергей. Нет его нынче... Как – нет?! Давай, батюшка Сергей, рядом ведь ты сейчас с Хозяйкой нашей, Которая и при жизни к тебе являлась и к Которой я сейчас взываю. Давай, помогай!.. Прости, Владычице, и Царь я плохой, и молитвенник плохой: царствовать не умею, т молитвы отвлекают, а я поддаюсь на отвлечение... – теперь он уверен был, что видит Ее живую в окне из Царствия Небесного.

«Крест тяжек, князь, не жди поблажек, – так говорил ему его духовник, митрополит Дионисий. – За царское служение так спросится, как ни с кого ничего не спрашивают. И если хоть крупца этого служения не по совести, нерадиво, не продумано до конца и со всех сторон, если, взвешивая решение, хоть что-нибудь опустил, если не в ту сторону рассуждение повел, если важное за неважное принял и наоборот, если Божий дар с яичницей спутал, если Божью волю не распознал и свое разрешения под нее не подстроил!.. Беда!

А возможность распознавания воли Его дана Им, коли Он Сам архиерейскими руками на Царство тебя помазал, скипетр власти над православным людом вручил. У Него и спрашивай! И у Матери Его и святых угодников Его. Молись, от всего отрешись, не ленись – ответят! А поленишься, не отрешись – там, в трясине преисподней, среди огня и чада вечных тоски и страха быть тебе в самых нижних рядах, а на голове твоей будет стоять языческий жрец и участь его будет легче твоей.

И сомнение неверия будто иглой сердце мучает. А эта игла только смирением расплавляется. Когда приступил душевным плачем к расплавлению иглы сей, тогда и понял грандиозность глыбы-горы под названием *смирение*. И – недоступность-неприступность ее вершины при проколоте сердце. Смирение – это не болтание щепкой на волнах обстоятельств, не униженное подчинение сильному, не вынужденная линия жизни слабовольной души. Смирение – это окончательное решение каменной воли следовать в жизни одному и только одному установлению: «Господи, помилуй! Меня не за что миловать, но Ты – помилуй. Я слеп и глуп. У меня нет воли, нет ума, нет сил, нет ничего. Без Тебя я – ничто. Единственное что я могу... точнее: попытаюсь смочь, это безропотно принять любое Твое волеизлияние про меня. Я не умею распознать Твоей воли, я не умею видеть волю людей, я не знаю сам себя. Руководи мной и не бросай...»

Смирение – это высшее достижение всех, что есть, вместе взятых, творческих возможностей, заложенных в нас Создателем. Смирение – это сила, не оборимая ничем. Вера, которая горы двигает, стоит на покаянии. А покаяние рождается из зернышка смирения. Разум, от гордыни просветленный, душа, наполненная жаждой очищения, все это почва, зернышко питающая...

Распластанный в плаче перед окном в Царство Небесное, он вот только сейчас почувствовал, как тает игла, вытекает из сердца.

– Царица Небесная, спаси землю Русскую!..

И он увидел, хотя глаза его были закрыты, что принят его душевный крик. И выдохнулось слезно и сокрушенно из бестелесного очищенного разума:

– СПАСИ... – огромность, многогранность, и в то же время предельная простота, единственность этого грандиозного слова, вот только сейчас осознались во всей полноте. Только этим словом молиться надо, только об этом просить.

От чего спасти? От кого спасти? От копыт коней Казы-Гиреевых?..

Давно забыт Казы-Гирей, причем здесь любая напасть земная?.. «Давно забыт?» А как это – *давно*? Что такое – *давно*, когда нет времени под лучами света из окна в Царство Небесное?

«И я сейчас в нем!! Дай его всем, всем моим подданным! Ты меня посадила домом Твоим управлять, так дай же им всем, кем я управляю, жить в том Царстве, где Ты – Царица!.. И если такова воля Сына Твоего, чтобы растоптан был дом Твой земной – Святая Русь, а жители его прекратили земную жизнь, да будет так. Но!.. СПАСИ, спаси жителей дома Твоего, вознеси их ВСЕХ в Твое Царство, всех до единого! Никто из них, и я в первую очередь, не заслужили того, но ты все равно вознеси всех! Меня оставь, ибо из всех недостойных я – самый недостойный, Царь их,.. но всех остальных – вознеси!..»

Возвращалось тело, отпуская каменное оцепенение. Тусклое пламя свечи горело перед Донской иконой.

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский подъезжал к укрепленному телегами лагерю, когда икона крестным ходом уже входила туда. Несли ее Царь и митрополит Дионисий. Когда вслед за воеводами пошли прикладываться к ней ратники, а воеводы вышли из храма, опечалился князь, на них глядя. Тревога и уныние – вот что сквозило от их облика. Икона, крестный ход, сам Государь среди стана никак не вызывали у них душевного подъема. Один из них, старый знакомый князя, вздыхал, что плохо организованы посты дальнего дозора, что Государь обязан был послать в Новгород за подмогой, тогда хоть не такое подавляющее превосходство было б у крымцев, что и дипломатия не та, что «молись, да к берегу гребись», что «на Бога уповай, да сеять рожь не забывай...»

– Сердце Царево в руке Божией, – перебил воеводу князь Иван Михайлович.

Воевода махнул рукой и отошел.

Меж тем, Государь обходил всех воевод и говорил каждому какое-то ласковое, ободряющее слово. Подошел и к знакомому князя, тот кивал в ответ на его слова, потупив глаза.

С Царем прибыло много бояр, приказных и еще всяких и сейчас князь заметил, что среди них не просто тревога стоит, но все они на грани паники. Один почти кричал, что женщин, детей и ценности, сколько возможно, из Москвы увозить надо. Другой метался, все про какие-то укрепления говорил, что, мол, мало вокруг посадов деревянных стен поставили... Князь взгляделся еще внимательнее во все, что его окружало и увидал, что несокрушимо спокоен из всех только один человек – Царь Феодор Иоаннович, И улыбается всем все той же своей улыбкой.

Борис Годунов нервно доложил Государю, что крымцы заняли Воробьевы горы. Феодор Иоаннович среагировал так, будто ему сообщили о прилете на Воробьевы горы стаи гусей. Появился Григорий Годунов и с ужасом на лице, едва не плача, сказал князю, что ему передали, что крымцы начали наводить переправу через Москву-реку. Тут к ним подошел Государь.

– Ты чего это разнюнился, Гришенька? – ласково спросил он Годунова.

– Да делать-то чего, Государь? – вопросом на вопрос ответил тот.

– Как чего? Да вот зайти в храм, у иконы помолись. А?

Григорий Годунов только поморщился, ничего не сказав.

– Утишись, Гришенька, – еще шире улыбаясь, проговорил Феодор Иоаннович, – крымцев завтра здесь не будет. – Шутишь, Государь?

– Шутить мне не пристало.

– Тогда как же ты их прогонять будешь?

– Да где мне, куда мне, сирому, их прогонять, сила вон какая!.. Говорю ж тебе: сами уйдут.

– Государь, Да я ж Дворцовым приказом ведаю! Всеми вотчинами твоими! Прикажи хоть казну, сколько сумею, увезти!

– Сдурел ты с горя, Гришенька. А приказываю я тебе вот сей же час: иди-ка и еще раз к иконе приложись. Да помолился бы усердно. Забыл, небось, когда лоб-то перекрещивал. Завтра вам некогда будет молиться, завтра гулять будете. А я – в колокол звонить.

Когда Государь отошел, Григорий Годунов только рот открыл, чтобы что-то сказать, но князь опередил его.

– «Не прикасайтесь к помазанникам Моим!» – почти выкрикнул он. И тихо добавил: – Даже мыслью злословной. Тебе слово Царское сказано! Тебе что, мало этого?!

Козы-Гирей был не просто доволен обстановкой и самим собой, он был очень доволен. Главные трудности позади. Вот она – беззащитная Москва за Лужниками. Главная же трудность прошедшая в том состояла, чтоб заставить своих орлов быстро мчаться к Москве, не отвлекаясь по пути на всякие там Серпуховы, Тулы, Рязани. Как можно быстрее – к Москве. Там главная добыча. За семь лет безмятежного царствования этого тихони-богомольца в Москве собрали столько богатств! Удивительно, за семь лет ни одного набега! Пока он, Козы-Гирей не утвердился в Крыму ханом. И то, что сейчас происходит, – Казы-Гирей самодовольно усмехнулся, – это не набег, это окончательный разгром Москвы и уничтожение Московской державы. Очень боялся подмоги из Новгорода, потому так спешил. Нету подмоги, свободен путь, а Новгороду – свой черед, по частям их добыю...

Разбудил Козы-Гирея грохот пушечной канонады, людские вопли и ржанье коней. Мгновенно поднялся и, выскочив из шатра, наткнулся на царевича Мурат-Гирея, командующего передовым корпусом и ответственного за переправу. Мимо, не видя ни его, ни Мурат-Гирея, мчались с криками всадники.

Меж тем из черноты ночи, что царила на Лужниковском противоположном берегу, пушечный грохот становился все сильнее. И явственней слышалось цоканье копыт о камни, будто тысяч сто лошадей по камням галопом скачут. И шум от скачки не меньше, чем от канонады.

«Да у них отродясь такой конницы не было, да и нет там никаких камней, земля мягкая...» – мелькнуло в ханской голове.

– Что происходит?! – хан схватил за шкуру Мурат-Гирея. И отпустил сразу, увидав вблизи его лицо. Таким он его никогда не видел. В глазах – никакой осмысленности, одна паника, еще чуть-чуть и начнется истерика.

– Наверное войско из Новгорода, – выдавил, наконец, Мурат-Гирей.

– Что значит «наверное»?! – взъярился хан. – Где царевич Нурадин?! Остановить этих!..

Но было уже видно, что остановить «этих» совершенно невозможно. Наконец, вытряс из Мурат-Гирея, что когда первая сотня плотов с диверсантами переправилась на тот берег и захватили несколько дозоров, все пленные радостно заявили, что пришло, наконец, огромное войско из Новгорода и сейчас оно будет здесь. А главные силы Новгородской рати в обход пошли, чтоб в клещи взять, и уже Можайск миновали, вот-вот здесь будут...

– Да мало ли что наплетут пленные! – взревел хан. – Где они?!.

Но ясно было, что в царящей кругом сумятице на его взрев «где они?» ответа он не получит. Да и неважно это теперь: были не только слова пленных, был возникший вдруг конский топот и пушечная каннонада из ночной тьмы. Переправившиеся диверсанты кинулись к плотам и что есть мочи погребли назад и, переправившись, с воплями, смяв обалдевших соратников, полезли по крутому берегу наверх к лошадям. Тут и на Воробьевском берегу стали слышны и топот и канонада.

Козы-Гирей знал, что самое страшное для войска не неприятель, а паника. Если она еще не расплзлась, ее кое-как, саблями и плетками можно подавить. Но бывает паника запредельная, она не давится. И именно она рвалась сейчас из глаз не кого-нибудь, а его ближайшей опоры, командующего главной силой его войск. Про скачущих мимо и орущих и говорить нечего было.

«И все пушки, небось, бросили,» – пронеслась тоскливая мысль.

И мысль, надо сказать, вполне правильная. Тут вдруг бесстрашный Козы-Гирей почувствовал, что и ему становится страшно. Мурат-Гирея уже рядом не было – ускакал. И страх какой-то особый, ранее неведомый – не канонада с топотом из темноты внесла этот страх. Ночные налеты для него и его налетчиков были обычным делом и им-ли, степнякам (вся жизнь на конях), конского топота вдруг так испугаться? Да если и случался испуг от этого, он всегда пресекался, всегда можно опомниться от такого испуга. Но звук пушечного грохота и конского топота нес на себе еще нечто, словами не объяснимое. Будто ветер страшный, непонятной природы, летел на пушечном грохоте и вгонял в сердце невозможный, вон отсюда толкающий страх, от которого не опомниться, пока несется на тебя этот ветер.

Это ж надо, как перекосило физиономию Мурат-Гирея! Да он один против пятерых в бою дерется! И чем больше на него наваливается, тем он спокойнее и сосредоточеннее. Но ни разу еще до этого на него не наваливался такой ветер. Не от коней и пушек удирали его налетчики, а от невозможного прогоняющего ветра. Вскочил на коня, поднял нагайку, чтоб хлестануть его, и... замерла рука:

«А шатер ханский?! Да там же... Эх, какой там шатер...»

Хлестанул и помчался вместе со всеми и никто из скачущих рядом его не узнавал, каждый рвался сам по себе.

Князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский ехал на коне вдоль Москвы-реки по Лужниковской пойме. Ехал проверять посты дозора. Возшла луна. Желтой ленточкой легла на тихую воду лунная дорожка. На душе было тихо и спокойно и совершенно не думалось, что там, куда упирается лунная дорожка, на высоком берегу готовится к прыжку страшная вражья сила. Князь любил эти места. Лужниковская пойма – кормилица Москвы, но и красива необыкновенно! Справа в блеклом лунном свете стояла стена травы, до седла высотой. За Новодевичий тянулись пойменные луга, впереди, вверх по течению, за лугом – огороды и сады. На все это смотреть – не наглядеться с той стороны, с Воробьевых. Сейчас крымцы любят... Хотя, вряд ли, они умеют любоваться только добычей, награбленным. Скоро будут любоваться.

От последней мысли руки сами собой поводья дернули, конь на дыбы встал с коротким ржаньем: «Ты что, хозяин?»

«А и действительно, чего это я?» – князь едва не выругался и слегка пришпорил коня. Сейчас будет избушка пасечника из царского приказа, лето он здесь с семьей живет.

Издали услышал шум и возгласы. «Спать бы в это время надо.» Вспокоенное семейство пасечника спешно выносило домашний скarb из избы и грузило его на телегу. Вторая телега, видимо, предназначалась для семейства. Разом вскрикнули все, когда в лунном свете возник перед ними всадник на коне.

– Это я, Трифоныч, – сказал князь. – Узнаешь?

– Ой, Господи помилуй! – пасечник перекрестился. – Ты б, князь, хоть загодя покричал. Так ведь и «кондратий» хватит! А я уж подумал – все, пропали, переправились, проклятые.

– А ты куда это собрался?

– Да ты что, князь, еще спрашиваешь! Раньше вот, дураку, надо было... Где эти шельмецы? – накинулся он тут на жену. – Что? Верши у них на реке поставлены?! Да ты!.. Почему отпустила?!

– Да остынь ты, Трифоныч, – сказал князь, – и неси все с телеги обратно в дом.

– Шутишь, князь?

– Шутить мне не пристало. Сегодня крымцев здесь не будет, – голос князя был таким, будто он про стаю галок говорил, что каждую ночь в огромном количестве ночуют на Воробьевских соснах: ну, мол, переночуют и улетят.

– Это с чего ж?

– Уйдут.

– Это с чего ж?

– Так Государь наш сказал. Он слово Царское дал.

Пасечник подошел вплотную к князю и внимательным, въедливым взглядом уперся в его лицо. Князя он знал давно, особо выделял его из всех, с кем сталкивала жизнь. За все время знакомства тот зазря не сказал ни одного слова, а тут такое говорит!

– Думаешь, они от его царского слова... того?

– Не думаю, знаю. Слово при мне сказано. А его слова – результат дела.

«Это ж какого дела, что тьмы вражеские возьмут, да и уйдут? Не для того пришли.» – так безмолвно говорили глаза пасечника. Он и во дворце бывал, пасеки ведь дворцового приказа, знал он, какое дело у Царя. – «Эх, князь, твоими бы устами...»

А князь сказал в ответ на взгляд пасечника:

– Кабы все мы его дело умели делать, они б, из Крыма выйдя, по воздуху в море улетели, а ты б в Крыму мед качал.

– Эх! – воскликнул пасечник, – Разгружай! – это уже к жене, – А ребятня пусть себе на реке вершами балуется. Скоро уж светать начнет.

И тут послышались детские крики и из прибрежных кустов выскочило трое мальчишек и каждый из них орал:

– Татары, татары!

– Эх, князь! – вскинулся пасечник и заметался между домом и телегами, к которым уже подбежали его сыновья.

Князь вынул саблю и молча стоял, ожидая. В кустах послышалась возня и одинокий голос что-то прокричал на чужом языке. И вдруг раздалось по-русски:

– Здаюс! – и из кустов вышел крымский солдат с поднятыми руками.

Увидав стоящие в лунном свете силуэты, крикнул еще громче:

– Здаюс! – и еще выше поднял руки. И остался на месте.

– Подойди сюда, – сказал по-татарски князь. При Иване Грозном с крымцами он имел дело не раз и язык ихний знал. – Опустит руки и иди сюда, не бойся. Кинжал не бросай, мне отдашь.

Крымец, что-то бормоча по-своему, пошел к князю, но рук не опустил. Жена пасечника спряталась за мужа, а трое мальчишек – за князя.

– Князь, чего он, а? – спросил испуганно пасечник.

– Он говорит, что плоты уплыли. он не успел, а плавать не умеет. Просит не убивать. А почему плоты уплыли? – спросил по-татарски князь.

– Так ваших же туча идет. Пушки стреляют.

– Какие пушки?

– Ваши, какие же еще? Оттуда, – крымец махнул рукой в темноту в сторону Москвы.

И тут на Воробьевской стороне будто взрывом ахнуло многотысячными воплями, конским ржаньем, ляганьем.

– Во! – крымец указал рукой на ту сторону и упал на колени, – Не убивайте!

– Мы пленных не убиваем, – сказал князь и затем, обернувшись к совсем потерявшемуся пасечнику, весело добавил, – Да разгружай ты свое барахло! И впредь не сомневайся в царском слове.

Борис Годунов и начальник Царского приказа, Григорий Годунов сидели на лавке около двери в домашний царский храм. Мрачно молчали. Вошел князь Катырев-Ростовский.

– Челом бью, бояре.

Те молча кивнули головами.

– Что Государь?

– Как всегда, – буркнул Борис Годунов и вздохом как бы добавил: «Молится.» Усталый и раздражительный вздох получился.

– А ты чего это такой... рот до ушей? – недоуменно спросил Борис Годунов.

– А ты чего такой невеселый, боярин? Весточку Государю привез. Тебе докладываю.

Крымцы движение начали...

– Что?! – оба Годунова разом вскочили.

– Да в обратную сторону! На Воробьевых их уж час как нет. Как раз столько, сколько я до вас еду. К обедне как раз у Серпухова будут.

Дверь открылась и из храма вышел Феодор Иоаннович. Все поклонились ему в пояс.

– Государь, тут вон, князь Иван,.. – растерянно начал Борис Годунов,.. – князь Иван с докладом приехал, уж не знаю...

– И с докладом, и с пленным, – улыбаясь добавил князь Иван Михайлович.

– Ну, ушли, что ль супостаты? – Государь улыбался своей всегдашней улыбкой, но голос его был вполне равнодушен, будто спрашивал: «Ну что, прошел дождь?»

– Ушли, Государь! – воскликнул князь Иван Михайлович. – Сам видел.

– Ну что ж, все вы молодцы, – отвечал Феодор Иоаннович, – всех исправно награжу, воевод особенно...

Вдруг Григорий Годунов опустился на колени и с шепотом: «Прости, Государь!» затрясся в рыданиях.

– И тебя награжу, Гришенька. Полно плакать, веселиться надо, Петров пост неделю как кончился – гуляйте! Ну а я... ой, Борис, опять эти бумаги, ты хоть бы ради праздника,.. ну, сейчас печать вынесу...

Большой колокол, тысячепудовый великан звонницы Архангельского собора, тонким звуком, будто рой пчел гудел на огромном языке, встретил появление Феодора Иоанновича. От резонанса его шагов, – как сказал бы какой-нибудь ученый. Но это было от радости – давно не виделись.

– Ну, здравствуй, старый приятель, – сказал Царь, беря в руки веревку.

Рядом звонари малых колоколов, а также звонари на всех колокольнях Соборной площади, а за кремлевскими стенами звонари всей Москвы, ждали сигнала. На Соборной площади было народу не меньше, чем на коронации.

И большой колокол ударил, загудел, объявляя начало Красного звона, который накрыл Москву и полетел во все концы света, объявляя всем и вся, рвущимся в завоеватели Святой Руси, что перво-наперво им надо выучить единственное русское слово, которое им пригодится – «здаюс». Других не понадобится, пока Русский Царь звонит в большой колокол.

Травка

Закрывать решено было так, чтоб не просто закрытие получилось, но идеологическое торжество, чтоб поняли жалкие остатки последних местных богомольцев всеильную беспощадность закрывающей силы: именно в Рождество закрыть Рождественский храм, последний в районе враждебный островок уже повсеместно уничтоженной поповщины. Для пушшего же торжества и кресты решено было сбросить. Самый куражистый и самый молодой из закрывателей – студент Яша, выкрикивал с хохотом:

– Сам петли на кресты одену. И никакой молнией за то не убьет меня ваш Бог, потому как нету Его!... Я зато есть! А это значит ни одного креста на земле не останется.

– А не слипниси? Много таких было, – проворчал один худенький облезлый дед и сам своего ворчания испугался под огненным Яшиным взглядом.

– Не, не слипнусь, – весело отвечал Яша. – Таких, говоришь, много было? Таких не было. Я вам возрожду пятилетку безбожия!

Яша приехал на зимние каникулы к своей бабке, учительнице местной школы, которая тоже была в числе инициаторов-закрывателей, но даже ее, а также и всех местных идеологических вождей поразила Яшина рьяность. Ждали подъемный кран с выдвижной стрелой, чтоб на кресты тросы накинуть, но рьяный Яша решил не ждать, решил сам лезть. И полез, не слушая никаких отговоров. Уж больно сильно захотелось и Бога несуществующего уесть и доблесть свою показать. А дело было нешуточное: пятиглавый храм высоченный, стены обледенелые, погода слякотная, ветреная. Уже скоро, стоя ногами на барельефной надвратной иконе, он понял всю серьезность дальнейшего пути, но назад хода не было (лучше свалиться, чем осрамиться).

– Любой ценой, мертвым, но доберусь до крестов, – твердо и грозно проскрежетало по его извилинам. – Раз сказал – таких не было, – буду таким, каких не было.

Взгляды толпящихся сельчан чувствовала его спина будто удары плеток. Они подхлестывали его остервенелое воодушевление и толкали вперед. Каждое его движение профессионала-скалолаза было точно, спокойно, расчетливо и вдохновенно. Добравшись так до основания из малых куполов, Яша остановился и глянул вниз. Высоты он никогда не боялся, а тем более такой высоты – всего-то с восьмизэтажный дом. И страха падения не было, хотя в случае падения гибели не избежать. Уже полз по слякотному бездорожью ожидаемый кран, краем глаза он видел его. Самое разумное было – продержаться вот так до того, как выдвижная стрела с люлькой будет рядом. Так подсказывал разум. Но одержимость гнала вверх. Это странное воодушевление, ощущаемое им физически, вдруг взрывом заполнило его волю, напрочь вышвырнуло разум и полновластно командовало теперь сознанием. Сияющий над головой крест отчего-то растревлял рвавшееся это воодушевление до состояния бешенства. Яша готов был уже прыгнуть к кресту, хоть от воздуха оттолкнувшись, и вцепиться в него зубами. И вместе с ним вниз рухнуть, плевать на гибель. Что такое, какая-то там гибель, если – вон он! – сияет растревливающим своим светом. И нету жизни и покоя, пока сияет этот свет.

Прыгнуть не прыгнул Яша, но движение роковое телом сделал – соскользнули ступни с уступчиков, ушла опора из-под ног. И пальцы на руках разжались, тоже свой уступчик выпустили. Мелькнул перед глазами пучок серо-желтой высохшей травки, торчащей из щели между двух кирпичей. Обе руки судорожно уцепились за пучок в безнадежном жалком порыве. Вернулся-таки, прилетел инстинкт самосохранения, и он с ужасом понял реальность гибели: сейчас с травкой этой руках он полетит вниз.

Но травка – держала.

Он шарил, болтал ногами и, наконец, нащупал новые уступчики. Замер так, обалдело тарашась на травку – сейчас оторвется. Но она не отрывалась. Едва не вскрикнул от легкого

толчка в спину, оказалось – люлька подплыла на выдвижной стреле. Мертвой хваткой схватился за люльку, встал на платформу. Пучок травки легко выскользнул из щели меж кирпичей, когда он, уже на платформе стоя, двумя пальчиками без усилий потянул за него. И надолго застыл так Яша, глядя на травку. И не чувствовал, и не видел, что люлька поднимает его к кресту. Качнулась люлька, остановившись, очнулся Яша. Перед его глазами сиял золотой крест, на который ему следовало накинуть петлю. Ожившее бешеное воодушевление пыталось новым взрывом овладеть сознанием, но взрыва не получалось. Ежилось оно, таяло от бывшего в глаза сияния креста, рассыпалось от дрожи пальцев, сжимавших пучок травки. Что-то кричали ему снизу, но он не слышал что. Наконец, люлька пошла вниз. Пустым, невидящим взглядом глядел перед собой Яша, когда вытаскивали его из люльки, трясли, ощупывали, чего-то говорили.

– Да шок у него, нервный шок, – суетилась вокруг него бабка. – Сейчас, сейчас пройдет. Чего это ты держишь-то?

– Травка, – сказал Яша и взгляд его осмыслился, – травка... – повторил он и засмеялся.

– Чего травка, какая травка, почему травка? – Вот, – Яша разжал пальцы, – я зацепился там за нее, потому и жив.

Бабка сосредоточилась взглядом на пучке. Местный идеовождь также соизволил уставиться на травку.

– Но этого не может быть! – сказала бабка.

– Не может, – ответил Яша, – но я жив, вот он я.

«Я есть» – вдруг вспомнился свой недавний, яростный вдохновенный восклик. Тошно стало почему-то от этого воспоминания.

– Ну и слава Богу, что жив, – сказал местный идеовождь.

Вздрыгнул Яша и перевел взгляд на идеовождя.

– Как? Как вы сказали? А вы понимаете, что вы сказали?

Идеовождь нахмурился:

– Ты чего это, э... , чего-то я не понимаю тебя.

– Не понимаете, – прошептал Яша. – Вижу. Не понимаете... не понимаем. А... как же мы... почему, не понимая, лезем во все, а?!

– Ой, – отшатнулась бабка. – Как смотрит! Яшенька, у тебя осоловелые, ненормальные глаза!

А Яше вдруг стало казаться, что ненормальные глаза как раз у бабки. Ему показалось, что во всем существе ее он увидел то страшное (и сейчас оно виделось страшным до жути), что так любил всегда, чем гордился и что в себе всегда нес. Это страшное не охватывалось разумом, не поддавалось анализу, но наличие его, бытие его, этого страшного, было также реально, как реальна была возможность гибели его там, на стене. Он глянул наверх и увидел себя стоящим ногами на надвратной барельефной иконе. Одна нога – над головой Богородицы, а другая – над головой Младенца, которого она вынимает из яслей. И то самое, что видит он сейчас в бабкиных глазах, что живо и в нем, страшное и могучее, тащит, несет его вверх, чтобы петлю на кресты...

– Ну, – сказал тут идеовождь. – Пора кончать. Залезай, одевай петли, будем сбрасывать.

Сияющие на солнце кресты глядели на Яшу будто в ожидании. Так ему показалось. Будто и сам воздух вокруг отвердел в ожидании его решения.

«Да, одену сейчас петли, потянем – и все. И молнией не убьет. И вообще ничего не будет. Ничего. Ничего?..»

Яша живо себе представил, как он вылезает из люльки, как тросы натягиваются... И тут он отчетливо понял, что не сможет он тогда жить. Вот не сможет – и все, невозможна будет жизнь. И непонятно сейчас, отчего так, ну, подумаешь – травка, да была ли она вообще, травка-то, выпала из пальцев, будто не было...

«Я есть!.. А... а зачем я есть? Чтобы кресты с храмов стаскивать? Я ногами по Их головам, а Они мне...»

Одна травинка осталась в руке, чувствуется...

– Ну вот что, – сказал Яша. – Все вон отсюда пошли. С краном вместе. Не будет закрытия...

– Ой, да он ли это сказал? Яшенька ли рьяный это сказал?

Бабка со страхом попятилась от него.

– Да он болен, с ума сошел! Яшенька, опомнись!

– Опомнись, – сказал Яша.

Идеовождь внимательно поглядел на него, ухмыльнулся спокойной горьковатой ухмылкой:

– Горя-яч... Все решил? Бы-ыло у меня уже такое. Ну-ну, твоя воля.

Когда отступили закрыватели, Яша вошел в храм. Огляделся. Все было уже вывoločено, вынесено, содрано, большая часть штукатурки с росписями отбита. Сам и отбивал кувалдой. Он подошел к тому месту, где почти не отбилосъ почему-то, сколько не долбил он тогда, надпись только повредилась. Вгляделся в нарисованное и стал читать поврежденное. Изображен был какой-то молодой поверженный человек с выколотыми глазами, отрубленными ногами и руками. «Иаков Персиянин» – с трудом прочел Яша на нимбе вокруг головы поверженного. «Иаков... Яков?.. И я – Яков!..» Вгляделся пристальнее, напрягся и прочел. Поверженный Иаков взывал к Господу, сокрушался, что нету ног у него, чтобы преклонить перед Ним колена, нету рук у него, чтобы поднять их к Небу, что не имеет глаз он, чтобы взглянуть на Него, но он благодарит Его за все и просит не наказывать своих мучителей, ибо не ведают, что творят. «И я его— кувалдой по глазам...» Яша перевел взгляд на купол, в вышину, куда был обращен лик безглазого человека Иакова. Скорее догадался, чем узнал Яша Того, Кто глядел на него с высоты. Раз в жизни до этого был Яша в храме, вот в этом самом, позавчера, с кувалдой. И сейчас можно еще обозвать Его, даже бросить в Него чем-нибудь, на неотбитую роспись плюнуть, кувалду взять. И не убьет в ответ молнией. И ничего в ответ не будет. Ничего?

Ожидали глаза Лика с вышины. Билось, рвалось наружу из дальних недр сознания то могучее и страшное, разумом не охватываемое, что на стену недавно гнало. И то, что излучали из себя и к чему звали глаза с вышины, тоже разумом не охватывалось. Яша снова глянул на Иакова-мученика. Везде и всегда и во все времена были мученики за идеи. Но такого, как вот этот, не может быть ни у какой идеи. не может нормальный человек, разумом наделенный, которому руки-ноги отрубили, глаза выкололи, мучают зверски, не о ногах-руках-глазах, не о боли сокрушаться, а... что на колени не может стать перед Тем, за Кого и получил он все это. Да еще чтоб мучителей простил!

«...И меня, значит? Ведь и я его кувалдой...»

Не может такого быть, но он – вот он. Дрожь в теле почувствовал Яша, когда ясно и просто понял и осознал, да нет же – ПОВЕРИЛ – что вот этот Иаков на самом деле был. Был, жил, ходил, дышал и в самом деле взывал так, как тут написано. И вообще... да неужто?! вот этот храм— громадину! и остальные! сотворили болваны трусливые, оттого, что молнии и грома боялись, не зная как их объяснить?!

«И ведь не видел Того, к Кому взывал, у Кого прощение мучителям вымаливал... А может видел? Безглазый, но видел?... А может,.. может и вправду стоит он сейчас вот так... И не на куполе нарисованный, а НАСТОЯЩИЙ! Там, за куполом, на Небе Своем?..»

Увидал еще одну полусбитую надпись. Сразу вспомнил, что над ней была коленопреклонная женщина, которую он всю искрошил кувалдой. Прочел полусбитое: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И тут почувствовал, что на него наваливается состояние ужаса как на стене, когда соскользнул. Заметавшиеся в голове мысли задолбили по черепу гулкой болью, точно кувалдой. «Я, я – есть,.. чтобы кувалдой? по глазам?..» Вдруг причудилось, что Иаков

этот на стене – живой, и он, Яша, его живого кувалдой. «А и вправду – живой!..» Ужас все наваливался и наваливался, вот-вот раздавит, и нету травки под рукой, чтобы схватиться... Как нету? Как нету? Да ведь – не вмени им... Кому – им? Мне, мне надо не вменить!

Прошептал страшным, громовым шепотом:

– Яков! Мне, мне пусть не вменит, мне пусть не вменит! оборотился к куполу:

– И я, и я – верую, хочу веровать, – завопил истошно, – возьми меня, господи, накажи, вмени мне все, руки отруби, ноги отруби, глаза выколи, но – возьми! И не бросай...

Вновь возвратившиеся закрыватели явились с нарядом милиции. Крана с ними не было, по дороге забуксовал и застрял. Яша сопротивлялся отчаянно, но все-таки его взяли. Это его сопротивление и вменили ему как сопротивление власти, оценив в четыре года исправительно-трудовой зоны усиленного режима. И попинали его и помутузили изрядно при взятии, в отместку за сопротивление и неожиданный идеологический прокол. Даже идеовождь пнул мстительно вождистской своей ногой расprostертого уже, скрученного Яшу. В ответ на этот пинок Яша почему-то улыбнулся и чего-то прошептал, причем так улыбнулся, что идеовождь расстроился еще больше и еще пнул. Об одном просил Яша, когда запикивали его в увозящую машину, чтоб позволили ему на храм смотреть, пока он видим, что великодушно ему было позволено. Яша смотрел на удаляющиеся кресты и улыбался тою же улыбкой, какой улыбался, когда пинал его идеовождь.

Так-таки и не сорвали их потом, хотя храм, естественно, закрыли. Кран то занят был, то барахлил, то идеовождь приболел (а потом и вовсе умер, с идеологическим почетом и похоронен со звездой на могиле). В общем, притускнела как-то рьяность идеологическая у местного начальства насчет крестов, так и остались они и потом, через тридцать лет, когда вновь открывали храм Рождества в Рождественке (в Рождество и открывали) – подкрашенные и подновленные сияли они на солнце.

Совсем уже состарившийся, седой и сгорбленный Яша в день открытия стоял чуть поодаль от храма и смотрел не на кресты, а на стену чуть ниже основания малого купола, что слева от барельефной надвратной иконы. Там виднелся (если взглядеться) пучок сухой серо-желтой травы, который обязательно зазеленеет к лету, пучок, разросшийся от засушенного кусочка травки без корня, что воткнул он меж двух кирпичей, когда реставрировали храм, кусочек, который прошел с ним все зоны и пересылки, много раз едва не конфискованный, ибо кумовья и режимники принимали его за наркотик, и занявший, наконец, свое неизбежное место на случай спасения еще одного рьяного закрывателя.

Тихвинская (морозная)

Генерал Власик метался позади Хозяина, впервые в своей карьере главного охранника Главного Охраняемого, не зная, чего делать и как себя вести. Загородить он его всегда был готов, хотя всегда для этого под рукой были готовы его подручные. Необычность и даже дикость ситуации состояла в том, что подручных сейчас не имелось. Хозяин сорвался внезапно, никого не предупредив, Власик едва-едва за ним в машину успел нырнуть. А обалдевшему шоферу Семочке, садясь рядом с ним, отчего Семочка обалдел еще больше, буркнул:

– Пакатаемся па Маскве. Езжай куда-нибудь. Давай, что ли, в сторону фронта...

Сидевший сзади, на хозяйском месте, Власик едва дышал от беготни по лестнице и ныряния в машину. Он проямлил срывающимся голосом, что линия фронта условна, говоря проще, вообще не ясно – где, ясно, что совсем близко и резко переменчива не в нашу пользу.

– Семочка, так что мы стоим? – перебил Хозяин, закуривая всемирно известную трубку.

Шофер Семочка дал по газам. Шофер Семочка ничего не понимал; только по двум маршрутам ездил он отсюда – на ближнюю и дальнюю дачи, пять броневиков-покардов спереди, пять – сзади, Власик справа от руля командует скоростью, а скорость как у истребителя.

– Давай потихоньку, – услышал он справа от себя. – По такой метели быстро не ездят.

Мело действительно зверски, хлестче, чем в феврале, да и в феврале такого давно не помнилось, а ведь всего-то третья неделя октября заканчивалась. Правда, эта неожиданная метелица, сменившая проливные дожди, вкупе с неожиданным в эти дни морозом окончательно задула пыл наступавших на Москву танковых клиньев Гепнера и Гудериана. Проливные дожди, то бишь кошмарный водоток с небес, превратили наши дороги, восьмые наши чуда света, в чуда вообще вне всяких номеров; а две тысячи боеединиц у наступавших, что на колесах и гусеницах, напрочь встали в этом непроходимом ужасе, загородив собой все движение вперед. Первый Покровский русский снежок, сквозь который руки своей не видать, укрепил своей метельной стеной непроходимость чудес света, что вне всяких номеров. Наступавшим оставалось только материться на своем жестком языке, проклинать эти эх-дороги и вздыхать о цивилизованной покоренной Европе с ее прекрасными шоссе и голубым чистым небом.

Глядя же на это жуткое метельное кружение, казалось, что русские небеса вплотную приблизились к земле: протяни руку и достанешь, однако рукотянутие это никак сквозь снежок не увидеть. Сквозь лобовое стекло руку не протянешь, да и не нужно – определенно ясно: вот они, небеса, рядом, и не рукотянутия они от тебя требуют, они требуют от тебя решения, переломного решения твоей жизни.

Уже месяц прошел, как замкнулся Киевский котел, вся Киевская область теперь – территория противника. И вот на этой территории (сегодня на стол сводка легла) противником открыты к действию 322 храма. А к 22 июня во всей Киевской епархии действовало их *два*. Остальные закрыты и обезображены. И кого местное население сочтет за оккупантов – своих удравших ломателей и осквернителей или танковую группу Гудериана – было не ясно.

Самый страшный день его жизни – 22 июня – оказался днем Всех Святых в земле Российской просиявших. Ох и осерчал тогда на них, не вспомнив при этом, что всю жизнь воевал с ними как с живыми. Одна пятилетка безбожия чего стоит. Война с Богом и святыми Его насмерть чтобы вбить осиновый кол на могиле окончательно похороненной Русской Церкви. Тогда же началась подготовка и к этой вот войне. И в обеих войнах – катастрофа. В первой войне осиновый кол был вбит, но в пятилетку безбожия, то есть произошел полный разгром ее планов. Согласно переписному листу 1937 года (венец пятилетки), а также донесениям тысяч сексотов, половина населения, которое вроде очень основательно провернули через атеисти-

ческую мясорубку, себя считали верующими. За души второй половины также ручаться было нельзя, очень плохо они проглядывались, как дома сквозь эту вот метель.

В окне справа проступила вдруг из метельной стены некая страшная, огромная бесформенная глыба.

– Останови, – тихо сказал Хозяин.

Вышел и, не оборачиваясь к Власику и Сёмочке, переминавшимся сзади, так же тихо спросил:

– Где мы и что это?

– А! Я знаю, – очнулся Сёмочка. – Это ж «Станкин», филиал его, мастерские тут, чугунолитейка...

– Это бывший храм? – прозвучало вопросом, хотя ему и так было ясно, что это бывший храм.

Несмотря на непроглядность метели, обезглавленный закопченный купол и колокольня угадывались взглядом, когда ветром сдувало метельную стену в сторону. Жуткие, уродливые контуры налепленных станкиновских пристроек скорее не виделись, а чувствовались. И тоской, и безысходностью дышало оттуда и даже навал чистого вьюжного снега со спустившихся небес не мог сбить этого дыхания.

– Точно, церквуха бывшая, Тихвинская называлась, – послышался сзади задуваемый ветром голос Сёмочки. – Меня шесть лет назад пацаном сюда гоняли... то есть мобилизовали, когда все это...

– ... вот в такой вид превращали... Слушай, Власик, а ведь осадное положение объявлено, мы полчаса ехали, и ни один наряд не остановил. Да перестань ты дергаться, Власик, никому мы сейчас не нужны: кто драпанул, тот драпанул, а кто немцев ждет, те дома сидят, а грабить уже нечего и некого, не чугунолитее же из этого стан-ки-на!..

И тут из снежного воющего кружева отслоилась фигура, будто из снега сама изваялась, и из-под белой, белее кружасьегося снега, бороды прозвучало тихим грозным басом:

– Хорошо смотришь на плоды деяния своего. На сегодня одного этого с тебя довольно, уловлен в твоих глазах ужас от содеянного... Не прорвутся иноплеменники к Москве... Мыть свои сапоги в Гибралтарском проливе... – перед глазами Хозяина маятником прошелся мощный палец, – не будет этого. Но, когда Москва за твоей спиной, мы стеной за твоей спиной.

– Кто это «мы»? – спросил Хозяин, не узнавая своего голоса.

Власик его тоже не узнал.

– С кем это вы, товарищ Сталин? – испуганно спросил он, загоразивая собой Хозяина.

– Отойди, не мелькай, – веско сказал Хозяин и отстранил начальника охраны рукой.

– А мы – это те, кто отменил 22 июня твой приговор Европе и твоим подданным, руками которых ты собирался нанести удар. Мало их руками ты уже наворотил? Этого мало?..

Метельная стена за спиной говорящего вдруг расступилась, и станкиновское переименование Божьего храма в чугунолитее предстало во всем своем кошмарном ужасе. И тут же закрылась метельная стена.

Самого себя поразили необычность, небывалость невесть откуда взявшейся обостренности восприятия на такой вид. Дольше того мгновения, что держалась открытой снежная стена, смотреть на обезображенный храм было совсем непереносимо, хотя насмотрелся за всю жизнь на такие виды предостаточно. И ответ за всех за них держать ему, ибо за ВСЕ, что делалось и делается теперь в этой стране, отвечать ему...

– На Введенье выдохнутся иноплеменные, – продолжал говоривший, а глаза его безжалостные неожиданно потеплели, и показалось даже, что улыбка проглянула из невидимого за бородой рта. – А наступать будешь в день Александра Невского, то бишь по новому стилю декабря шестого. Поди, ведь, и даты-то забыл. Но мы напомним, все вспомнишь...

«Да какое там наступать!.. – заныло и в без того надрывно скачущем сердце, – обороняться-то нечем... Бреши во фронте по сотне километров, и заткнуть их нечем. Полнокровные дивизии с Дальнего Востока едва к Хабаровску подходят...»

– А ты верни своим подданным Родину, – вновь вдруг посуровел говорящий, – а то ведь, по-вашему, было как? «Родина» – это чье слово-понятие?

– Белогвардейское, – автоматическим выхрипом прозвучал ответ.

– Отменена ведь была Родина?! И не твоим ли указом?

– Участвовал...

– Так вот ты и верни! Начинай на Введенье снова вводить русский народ в храм Божий, из которого вы его вывели и которому нынче он, храм Божий, не нужен. На смерть погибельную, Европу покорять хотел ты их вести, так веди их теперь на пули по-Евангельски: за други своя, за Родину, в Царство небесное... А на Георгия зимнего, через два дня после Александра Ярославича, ледового-снежного победителя, устрой-ка ты крестный ход вокруг Москвы, и чтоб во главе его Тихвинская наша Матушка вот из этого храма, ныне Она рядом, в Пименовском храме, коли б не метель – колокольню его отсюда б видать было. Его вы, милостию Божией, разорить не успели. Чего тарашисься? Ну, коли пешком несподручно, то на этом ероплане. Царице Небесной все равно, что на руках грешных, что в железке на воздушях. И Георгий наш, Победоносец, пусть тоже присутствует; его икона тоже у Пимена есть. А Матушка Тихвинская, Она хоть и летняя, но во весь год Воительница великая – шведам в свое время всю охоту нападать отбила, да и не только им.

– Шведам?

– А они тогда вроде как острие всего Запада были, ну вроде как сейчас эти... А за Москву до конца стой и на всю стратегию-тактику плюй – Москва вне стратегии-тактики, она вне всего. И храмы больше не разоряй, а то все святые опять рассердятся, и тогда уж – не взыщи...

– А ты кто, отец? – и едва не крикнул вслед «Не уходи!», видя, что тает образ говорящего.

– А я сторож храма вот этого, защищал его от ограбления вами 20 лет назад. Много вы из оклада с Тихвинской иконы бриллиантов наковыряли, много на них чугунолитья накупили, чтоб на пушки его перевести, – все пушки теперь иноплеменниками захвачены, по вам стреляют. А нынче Она, Царица Небесная, без бриллиантов выручит. А за пулю в лоб, что у врат сих получил, – спасибо... она, пуля эта, меня в Царство небесное отправила, а то ведь... ох, плохо жил... спасибо...

Сказал громко вслед растаявшему образу:

– Да, я их породил, я и!.. За Родину, за Сталина!..

Генерал-майор Голованов, личный пилот Верховного, он же командир отдельной бомбардировочной дивизии дальнего действия, выполнил за время службы множество личных заданий Хозяина. Взлетая же сейчас на своем СИ-47 (ЛИ-2), не удержался, гмыкнул про себя: «Чудит Верховный!». Таким, каким он видел Хозяина, когда тот ему последнее задание давал, он его еще не видел. Выходило так, что важнее задания Александр Голованов в своей жизни еще не получал, хотя в таких переплетах побывал!..

Александр Голованов жил свою жизнь сломя голову и никогда головы не терял, но, когда узнал, что предстоит облететь вокруг Москвы с Тихвинской иконой, растерялся. Третий день шло совершенно неожиданное и успешное наступление, начавшееся без танков, без артподготовки, ночью. И вот отбиты Яхрома, Михайлов, а вчера наконец отрублен главный крюк, нависавший над Москвой, – Крюково-Красная Поляна. Погода стояла не просто нелетная, а абсолютно, демонстративно нелетная. Невозможный ветер с метелью плюс полста с минусом по Цельсию у поверхности земли делали невозможным ни взлет, ни посадку. И уж если приперло и даже в такую погоду, надо использовать головановский феномен уметь все, так уж лучше дивизию его во главе с ним поднять для бомбардировки противника. Впрочем, нет,

никто из дивизии, кроме него, взлетать-летать в таких условиях не может... Верховный же, давая задание, был абсолютно уверен в успехе полета, да еще и присовокупил с только ему присущей иронией: «Не волнуйся, Саша, „мессеры“ в такую погоду тоже не летают».

Перед тем, как завести мотор, подошел к иконе и ее сопровождавшим. Сопровождавшими были поп с блаженными глазами и трое женщин, чтоб петь в полете. За годы службы у Хозяина кого только не повидал Александр Голованов: от министров до международных бандитов, а живого попа видел впервые. Вот такие нынче времена. И в женщинах было что-то особенное, чего он при всем своем уме не смог сформулировать, особенно во взглядах их, отрешенных и сосредоточенных.

Сказал всем жестко:

– Хочу вас предупредить, дорогие мои. Вы, конечно, как я знаю, добровольцы, но полет наш непредсказуем.

Все четверо улыгнулись разом и будто одной улыбкой, а священник ответил за всех:

– Да что ты, милоч! Раз Царица Небесная устроила этот Крестный облет... а что, хорошо звучит!.. какая ж непредсказуемость! Ты включай свою железку-то, только это, давай, чтоб не очень громко, чтоб пению не мешало.

И тут генерал-майор Голованов расхохотался.

Два танкиста, два веселых друга, командиры двух танковых экипажей, совершали разведку боем. Два их танка давно уже шли по территории противника, имея цель навести слегка шороху, захватить, сколько захватится, языков и вернуться к своим. Себе на удивление отметили, что территория противника есть, а противника не видно. Правда, из-за такой метели и пушки своего танка не разглядеть, однако рев их моторов явно перекрывал вой метели и не слышать его противник не мог. Где же реакция противника? План разведки боем состоял в том, чтобы наскочить на счет пушки, неважно какой; никакая пушка противника их кавэшки (КВ-1) не возьмет пушку, понятное дело, раздавить, а с расчетом рассчитаться, и кому из расчета повезет – в танк его как языка и назад к своим. Рация была только в одном танке, да и то... по ней «легче связаться с Господом Богом, чем со своим комбатом» – так шутил сам комбат, имея в виду, что Господь Бог обращение к Нему и без рации услышит. «Если б вам вместе с языком еще б и рацию ихнюю прихватить...» – такими словами напутствовал комбат обоих друзей в разведку боем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.